

# ПРИЛОЖЕНИЕ



© 2003 г.

ФИЛОН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ  
О ПЬЯНСТВЕ  
Φίλωνος Ἀλεξανδρεως  
Περὶ μέθης

Вступительная статья, перевод с греческого и комментарии  
Д. Е. Афиногенова\*

(101) И в другом месте он говорит, что «как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу, громы перестанут» (Исх. 9:29). Не думай, что так рассуждает человек, сочетание, или сплетение, или смесь души и тела, или как еще следует называть это сложное существо, – нет, это чистейший и беспримесный ум, который, удерживаемый в городе тела и смертной жизни, заперт, схвачен и заключен, словно в темницу, и откровенно признается, что не может даже глотнуть вольного воздуха. А когда он выйдет из этого города, его помышления и раздумья будут развязаны, словно руки и ноги узника, и он пустит в ход свои вольные и освободительные действия, так что повеления страстей сразу будут пресечены. (102) Разве не раздадутся тут истошные вопли наслаждения, которыми оно обыкновенно приказывает то, что ему любо, и неумолчный крик вожделения со страшными угрозами тем, кто ему не прислуживает, и некий многозвучный и громогласный зов каждой из остальных страстей? (103) Но даже если каждая из них тысячами глоток и языков будет изрыгать то, что поэты называют кликами (ὄμῶδες), они не смогут взволновать слух совершенно, который уже переселился и решил больше не жить с ними в одном городе.

(104) Когда же пострадавший говорит, что все голоса в телесном лагере суть голоса войны, тогда как любезный миру покой изгнан далеко, священное слово соглашается: ведь оно не отрицает, что это голос войны, но говорит, что он не таков, как некоторые думают, победителей или побежденных, – но как если бы кричали отягощенные и подавленные вином. (105) Ибо «не крик побеждающих» (Исх. 32:18) равносильно «взвзвяхших верх в войне», потому что сила есть причина победы. Поэтому он представляет мудрого Авраама после ниспровержения девяти царей, четырех страстей и пяти чувственных способностей, которые вели себя противоестественно,

\* Окончание. Начало см. ВДИ. 2003. № 1. С. 193–202.

запевающим благодарственную песнь такими словами: «Поднимаю руку мою к Богу Всевышнему, Который сотворил небо и землю, что даже нитки и ремня от обуви не возьму от всего твоего» (Быт. 14:22–23). (106) Он указывает, как мне кажется, сразу на все возникшее – небо, землю, воду, воздух, животные и растения, потому что каждому из них тот, кто устремил действия души к Богу и чает помощи только от Него, сказал бы должным образом: «Я не возьму ничего твоего, ни полуденного света от солнца, ни ночного от луны и других звезд, ни дождей от воздуха и туч, ни питья и пищи от воды и земли, ни зрения от глаз, ни слуха от ушей, ни запахов от ноздрей, ни вкуса от ротовых соков, ни речи от языка, ни способности давать и брать от рук, ни приближения и удаления от ног, ни дыхания от легких, ни переваривания от печени, ни от каждого из внутренних органов свойственных им действий, ни ежегодных плодов от деревьев и посевов, – но все от Единственного Премудрого, Который повсюду простирает Свои благодетельные силы и ими доставляет пользу». (107) Посему видящий Сущее, зная Причину, почитает те вещи, которых Он есть Причина, во вторую очередь после Него, без лести признавая за ними их качества. Признание же весьма справедливо: я не возьму ничего от вас, но от Бога, Который сотворил все, и, может быть, через ваше посредство, ибо вы – орудия, прислуживающие Его бессмертным милостям. (108) Неосмотрительный же человек, ослепший разумом, которым только и можно постичь Сущее, никоим образом Его не видит, а лишь собственными ощущениями [воспринимает] телá, находящиеся в мире, которые он считает причиной всего возникающего. (109) Из-за этого, начав делать богов, он наполнил вселенную статуями, и идолами, и множеством прочих изваяний, изготовленных из разных материалов, и, установив для рисовальщиков и ваятелей – которых законодатель<sup>7</sup> изгнал за пределы своего государства – великие награды и исключительные почести, как частные, так и общественные, он получил противоположное ожидаемому, вместо святыни нечестие. (110) Ибо многобожие порождает в душах глупцов безбожие, и обожествившие смертное пренебрегают почитанием Бога. Они не удовольствовались тем, что изготовили изображения солнца и луны, а при желании и всей земли, и всей воды, но уделили подобающие нетленным почести и бессловесным животным, и растениям. Вот и показано, как упрекающий их запекает победную песнь.

(111) Однако и Моисей поступил так же, когда увидел, что царь Египетский, заносчивый ум, вместе с шестьюстами колесницами (ср. Исх. 14:7), шестью движениями органического тела, приспособленными для едущих на них избранных военачальников (ср. Исх. 15:4), которые, хотя ничему из возникшего не присуща устойчивость, считают нужным объявлять все прочно утвержденным и не подверженным никаким изменениям, понес достойное наказание за нечестие, а подвижнический, напротив, избежал натиска врагов и неожиданно обрел могучее спасение. Он восхвалил справедливого и истинного Правителя Бога, запевая самые подходящие и подобающие случаю песнопения, потому что коня и всадника Ты ввергнул в море (Исх. 15:1), уничтожив ум, сидевший верхом на неразумных порывах четвероногой и разнузданной страсти, стал помощником и защитником зрячей души, чтобы даровать ей совершенное спасение. (112) Он же запекает и у колодца, уже не только о ниспровержении страстей, но и о том, что смог получить наилучшее из приобретений, необоримую премудрость, которую он уподобляет колодцу. Ибо она глубока и не поверхностна и источает сладкий поток добродетельного благородства для жаждущих душ, необходимейший и одновременно приятнейший напиток. (113) Но никакому обычному человеку от образования не дозволено копать этот колодец, а только царям, как сказано: «выкопали его князья» (Числ. 21:16–18). Ибо отыскивать и добывать премудрость – дело великих вождей, не тех, что подчинили море и сушу оружием, но силами души одолевших ее многообразную, смешанную и пеструю чернь.

(114) Их ученики и знакомцы – те, кто говорит: «Рабы твои сосчитали число воинов, которые нам поручены, и нет разногласия ни в одном из них; мы принесли при-

<sup>7</sup> Т.е. Платон.

ношение Господу, кто что нашел» (Числ. 31:49–50), – (115) ибо и они, похоже, опять-таки запевают победную песнь, стремясь получить совершенные и господствующие силы. Ведь они говорят, что получили наилучшее и дополняющее сумму число качеств мужества, которые по природе воинственны, противостоя двум [вражеским] флангам, одним из которых предводительствует трудноизлечимая трусость, а другим – бешеная храбрость, обе лишённые благого суждения. (116) Прекрасно сказано, что ни в ком не было *разногласия* (Числ. 31:49) по поводу причастности к цельному и совершенному мужеству, ибо как лира и всякий музыкальный инструмент немелодичен, даже если фальшив един-единственный звук, но гармоничен, когда при одном ударе все звучит согласно, образуя одно и то же созвучие, таким же образом и инструмент души несозвучен, если, сильно напрягаясь в дерзости, вынуждает из себя очень высокую ноту, или, чрезмерно расслабляясь из-за трусости, опускается до очень низкой. Созвучен же он, когда все тоны мужества и всякой добродетели, смешиваясь, рожают одну слаженную мелодию. (117) Великое же свидетельство созвучия и гармонии – принесение даров Богу, то есть подобающее почитание Сущего через ясное исповедание того, что весь этот мир есть Его дар. (118) Ибо сказано очень верно: *«кто что нашел, то принес в дар»* (Исх. 31:50). А каждый из нас, рождаясь, сразу находит великий дар Божий, целый мир, который Он даровал ему же самому и лучшим его частям. (119) Есть и частные дары, которые людям подобает принести Богу и получить от Него. Это добродетели и связанные с ними действия. Их обретению, которое происходит почти вне времени из-за исключительной быстроты Подателя в доставлении того, что Он обычно дарует, поражается всякий, даже тот, кто не ничто другое не ставит высоко. (120) Поэтому он спрашивает: *«Что так скоро нашел ты, сын мой?»* (Быт. 27:20), удивляясь быстроте доброго расположения. Облагодетельствованный же с готовностью отвечает: *«Что послал мне Господь Бог»* (Быт. 27:20). Ибо предания и наставления от людей медлительны, от Бога же – очень быстры, опережая даже самое быстрое движение времени. (121) Посему запевающие и ведущие в силе и мощи хор, поющий победный и благодарственный гимн – это те, о которых шла речь, а [предводители хора], в поражении и слабости исторгающего плач о неудачах, – другие, кого следует скорее не бранить, а жалеть, как имеющих от природы больное тело, для которого любая болезнь – большое препятствие к выживанию.

(122) Некоторые же пали не против воли, из-за менее крепкого строения души подавленные превосходящей силой противника, но, подражая добровольным рабам, по собственной воле покорились горьким господам, будучи свободного рода. Поэтому они, не имея возможности быть проданными, что самое нелепое, сами, купив, приобрели себе господ, поступая так же, как и ненасытно пьющие вино ради опьянения – ведь и те по своей воле пьют его, а не по принуждению принимают. Так что они добровольно отсекают от души трезвую часть, а выбирают безрассудную, ибо сказано: *«Я слышу голос пьющих от вина»* (Исх. 32:18), то есть не проявляющих невольное помешательство, но беснующихся в добровольном сумасшествии. (124) Всякий же приближающийся к стану видит *тельца и пляски* (Исх. 32:18), как и сам он указывает, – ибо те из нас, кто рассудил волей стоять близко к телесному стану, встречают гордыню и спутников гордыни, потому что любители созерцания, жаждущие видеть бестелесное, как подвижники негорделивости, имеют обыкновение обитать очень далеко от тела.

(125) Молись же Богу, чтобы никогда не стать запевающим от вина, то есть никогда по своей воле не предводительствовать на пути, ведущем в невежество и неразумие, – ибо невольное зло есть половинное и более легкое, не отягощенное прямым обличением совести. (126) По исполнении же твоих молитв ты уже не сможешь быть рядовым человеком, а приобретешь величайшую из всех начальствующих должностей, священство. Ибо получишь трезвенные жертвы – дело, наверное, только священников и слуг Божиих, по твердости разума отказавшихся от вина и от всего, что заставляет нести вздор. (127) Ибо сказано: *«И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и сикеры не будете пить ты и сыны твои после тебя, когда входите в*

скинию свидетельства или приступаете к жертвеннику, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличить священное от несвященного и нечистое от чистого"» (Лев. 10:8–10). (128) Священник же – Аарон, и его имя переводится «горный», помысел, размышляющий о горнем и высоком, не из-за важности, полной хвастливой и пустой кичливости, но из-за величия добродетели, которая, поднимая мысль выше небес, не позволяет думать ни о чем низком. А кто так настроен, по своей воле уже не примет вина и всякого зелья неразумия. (129) Ибо ему необходимо или в таинственном шествии входить в скинию, чтобы совершить незримые обряды, или, придя к алтарю, приносить благодарственные жертвы за частные или общественные дела – а это требует трезвости и особой остроты ума. (130) Можно справедливо подивиться и буквальному смыслу повеления. Ведь разве не достойно приступать к молитвам и священнодействиям трезвыми и будучи в здравом уме, как и наоборот, смехотворно [делать это], расслабив вином как тело, так и душу? (131) Разве, собираясь идти к господам, родителям и начальникам, их рабы, сыны и подданные не позаботятся о своей трезвости, чтобы не погрешить в словах и поступках и не быть наказанными за презрение к достоинству старших – или, в самом лучшем случае, не заслужить насмешки? А намеревающийся служить Вождю и Отцу мира, стало быть, не воздержится от самой пищи, и питья, и сна, и всего, что необходимо природе, но, предавшись неге, будет подражать жизни кутил и прикоснется к чаше, к алтарю или к жертвам с тяжелыми от вина глазами, трясущейся головой, вывернутой набок шеей, рыгая от невоздержанности и растекаясь всем телом? Но такому не дозволено даже издали вглядываться на священное пламя.

(132) Однако если полагать, что речь идет не о видимой скинии и жертвеннике, построенных из бездушного и тленного материала, но о невидимых и умопостигаемых созерцаниях, чувственными образами которых они являются, то наставление еще поразительнее. (133) Ибо поскольку Творец во всем сотворил что-то образом, а что-то подражанием, Он и добродетель сделал первообразной печатью, а с нее оттиснул очень похожий отпечаток: так вот, первообразная печать есть бестелесная идея, а запечатленный образ – уже тело, по природе чувственнопостигаемое, однако не поддающееся ощущениям, как и о дереве в глубочайшем месте Атлантического моря можно было бы сказать, что оно по природе горюче, но никогда не сгорит в огне из-за покрывающего его моря.

(134) Посему будем понимать под скинией и алтарем идеи, что одно есть символ бестелесной добродетели, а другое – чувственного образа. Алтарь и то, что на нем, видеть легко – ибо он устроен вовне и горит негасимым пламенем, так что освещен не только днем, но и ночью. Скиния же и все, что в ней, невидимо – не только потому, что она воздвигнута в самом внутреннем и недоступном помещении, но и потому что дотронувшийся до нее или увидевший ради любопытства глаза карается неотвратимой смертной казнью по повелению закона, если только это не целокупный и совершенный человек, не тревожимый вообще никакой, ни большой, ни малой страстью, но обладающий безузурбной, полной и во всем совершеннейшей природой. (136) Ибо ему дозволено раз в год, войдя, осмотреть запретное для других, потому что только в нем одном из всех обитает окрыленная и небесная любовь к бестелесным и нетленным благам. (137) Посему когда он, пораженный идеей, следует за печатью, оттиски которой суть частные добродетели, в изумлении постигая ее боговиднейшую красоту, или подходит к одной из принявших ее отпечаток [добродетелей], он сразу забывает невежество и невоспитанность и помнит образование и знание.

(138) Поэтому сказано: *«Вина и сикеры не будете пить ты и сыны твои после тебя, когда входите в скинию свидетельства или приступаете к жертвеннику»* (Лев. 10:9). Излагает же Он это скорее не как запрет, но как выражение мнения, потому что для запрета было бы естественно сказать: «когда священнодействуете, вина не пейте», а для выражения мнения – «не будете пить». Ведь и невозможно, что-

бы заботливо следующий общим и видовым добродетелям допустил к себе причину пьянства и буйства души, невоспитанность.

(139) Скинию же он часто называет «скинией свидетельства», или потому что не-ложный Бог есть свидетель добродетели, внимать Которому хорошо и полезно, или потому что добродетель вносит в души уверенность, с силой отсекая сомневающиеся и двоящиеся помыслы, и открывая истину в жизни, словно в суде. (140) А что не умрет приносящий трезвенную жертву, Он говорит потому, что невоспитанность несет смерть, а образование – жизнь. Ибо как в наших телах болезнь – причина распада, а здоровье – спасения, таким же образом и в душах спасительное начало есть разумение (ибо это некое здоровье разума), а разрушающее – неразумие, насылающее неисцелимую болезнь. (141) Он говорит, что это *вечное постановление* (Лев. 10:9), выражаясь прямо, – ибо Он полагает, что в природе мира водружен бессмертный закон, содержание которого таково: образование есть вещь здоровая и спасительная, а невоспитанность есть причина болезни и разрушения. (142) Дополнительно же Он указывает и нечто такого рода: истинное постановление тем самым и вечно, потому что и правое слово, которое есть закон, нетленно – ведь и наоборот, беззаконие благоразумные люди признают преходящим и легко распадающимся в себе самом.

(143) Свойство же закона и образования – отличать скверное от святого и нечистое от чистого, так же как беззакония и невоспитанности, наоборот, – насильно сводить вместе враждебное друг другу, перемешивая и спутывая все. Поэтому и величайший из царей и пророков Самуил, согласно священному слову, «*вина и пьянственного не будет пить до смерти*» (1 Цар. 1:11) – ибо он поставлен в строй божественного воинства, который никогда не покинет благодаря попечению мудрого Военачальника. (144) А Самуил, может быть, и был человек, но [здесь] он берется не как сложное существо, но как ум, радующийся лишь служению и угождению Богу, потому что это имя переводится «устроенный Богу», из-за того, что он считает тяжким настроением дела, происходящие от пустых мнений. (145) Родился он от матери Анны, чье имя в переводе означает «благодать» – ибо без Божией благодати невозможно покинуть смертное или вечно оставаться с нетленным; (146) а та душа, которая исполнится благодати, сразу ликует, смеется и пляшет – ибо она подобна вакханке, так что многим непосвященным показалось бы, что она неистовствует в пьяном разгуле. Поэтому и говорит ей некий отрок, не один, но всякий, кому по возрасту затевать новшества и насмеяться над хорошими вещами: «*Доколе ты будешь пьяною? Вытрезвись от вина своего*» (1 Цар. 1:14). (147) Ибо у боговдохновенных не только душа обычно возбуждается и словно бы беснуется, но и тело раздумывается и пылает, когда разливающаяся и греющая изнутри радость передает это состояние вовне. Из-за этого многие неразумные люди, обманувшись, сочли трезвых пьяными. (148) Хотя эти трезвенники в каком-то смысле и пьяны, приняв все блага сразу, как несмешанное вино, и выпив под здравницы совершенной добродетели, а пьяные от вина так и не вкусили разума, пребывая относительно его в посте и голоде. (149) Посему она справедливо отвечает любителю новшеств, который думает посмеяться над ее честной и строгой жизнью: «*Друг мой, я жена – жестокий день, вина и пьяного питья я не пила, но изливаю душу свою перед Господом*» (1 Цар. 1:15) – весьма откровенна речь души, исполненной благодатью Божией. (150) Сначала она назвала себя «жестоким днем», взирая на насмехающегося отрока, – ибо он и всякий неразумный считает путь, ведущий к добродетели, трудным, непроходимым и наитягостнейшим, как и некто из древних засвидетельствовал, сказав:

Зла натворить сколько хочешь – весьма немудреное дело.  
Но добродетель от нас отделили бессмертные боги  
Тягостным потом: крута, высока и длинна к ней дорога,  
И трудновата вначале. Но если достигнешь вершины,  
Легкой и ровною станет дорога, тяжелая прежде<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Гесиод. Труды и дни, 287, 289–292 (пер. В.В. Вересаева).

(151) Затем она говорит, что не принимала вина и пьяного питья, гордясь постоянной на протяжении всей жизни трезвостью, – ибо обладать поистине свободным, вольным и чистым помыслом, не опьяненным никакой страстью, есть дело великое и удивительное. (152) От этого же получается, что ум, насытившись несмешанным трезвением, целиком становится возлиянием и изливается к Богу. Ведь что значит *«изливаю душу свою перед Господом»* (1 Цар. 1:15), как не следующее: «Я всю ее освящу, разрешив все прежде связывавшие ее узы, наложенные пустыми заботами смертной жизни, выведя ее вонне и распростерев и разлив настолько, чтобы она коснулась даже краев вселенной и устремила к прекрасному и прославленному зрелищу Невозникшего?»

(153) Итак, это сонм трезвенников, поставивших предводителем образование, а прежний состоял из пьяных, над которыми главенствовала невоспитанность. (154) Поскольку же опьянение означало не только вздорные речи, создателем чего была невоспитанность, но и совершенное нечувствие, а телесное нечувствие создается вином, душевное же – неведением того, знание о чем было бы естественно приобрести, следует сказать вкратце и о неведении, упомянув самое существенное. (155) Итак, чему из телесного уподобить душевное претерпевание, называемое неведением, как не увечью органов чувств? Посему те, у кого повреждены глаза и уши, уже не могут ничего ни видеть, ни слышать, не ведая дня и света, ради которых только, по правде говоря, и стоит жить, но, живя в долгом мраке и вечной ночи, они глухи ко всему и малому, и большому. Их справедливо по-жизнейски называют инвалидами, то есть немощными, (156) потому что даже если все другие их телесные силы дойдут до предела крепости и мощи, они, споткнувшись об увечье глаз и ушей, терпят великое крушение, так что уже не могут подняться, – ведь человека на словах поддерживают и укрепляют ноги, а на деле – слух и зрение, имея которые в целости, он стоит прямо, а лишаясь их, клонится и совсем рушится.

(157) Итак, нечто подобное, безусловно, творит и неведение в душе, повреждая ее зрительные и слуховые способности и не позволяя проникнуть ни свету, ни слову, одному, чтобы он не учил, а другому – чтобы не показывал сущее. И разлив глубокий мрак и великое неразумие, оно превратило прекраснейший вид (εἶδος) души в бесчувственный камень.

(158) Ведь и противоположность неведения, знание, в каком-то смысле есть и глаза, и уши души – ибо оно обращает внимание на сказанное, и созерцает сущее, и не терпит, чтобы что-либо ускользнуло от зрения или слуха, но обозревает и осматривает все, что достойно слышания и созерцания, и даже если нужно идти пешком или плыть, оно добирается до пределов суши и моря, чтобы увидеть еще что-нибудь или услышать нечто новое. (159) Ибо любовь к знанию совершенно неутомима, она враждебна сну и любит бодрствование – посему, вечно пробуждая, поднимая и подстрекая разум, она принуждает его странствовать везде, делая его жадным до слуха и пронизывая непрестанной жаждой познания. (160) Итак, знание дает зрение и слух, посредством чего совершаются добрые дела. Ибо увидевший и услышавший, познав нужное, получает пользу, избрав его и отвергнув противоположное ему. Неведение же, причиняя душе увечье, которое хуже, чем телесное, становится виновником всех прегрешений, потому что оно, не видя и не слыша заранее, не может получить помощь извне. Поэтому из-за полного своего одиночества оставшись без предохранения и предосторожности, душа терпит злоумышления от первых встречных людей и вещей. (161) Посему не будем никогда пить столько несмешанного вина, чтобы привести чувства в бездействие, и не станем настолько отчуждаться от знания, чтобы наша душа оказалась охвачена неведением, великим и глубоким мраком.

(162) Род же неведения двойной, один простой, полное нечувствие, а другой двойной, когда кто-нибудь не только одержим незнанием, но и мнит, что знает то, чего никоим образом не ведает, превозносясь ложной видимостью мудрости. (163) И вот первое есть меньшее зло, потому что оно причина менее тяжких и, может быть, невольных согрешений, а второе – большее, ибо оно порождает великие преступления.

ния, и не только невольные, но и предумышленные. (164) Именно об этом, как мне кажется, особенно тревожится Лот, не могущий возрастить в душе мужскую и совершенную поросль. Ибо у него было две дочери от жены, обратившейся в камень, которую, воспользовавшись точным именованием, можно было бы назвать «привычкой» (συνήθεια), природой, враждебной истине, которая, когда кто-нибудь ведет ее, отстает и оглядывается на старое и привычное и остается посреди него наподобие бездушного столба.

(165) Из дочерей же старшую назовем «решением» (βουλή), а младшую – «соглашением» (συναινέσις), ибо за решением следует согласие, а согласившись, никто уже не решает. Посему ум, воссев в своем совете, начинает побуждать дочерей, и со старшей, решением, рассматривать и исследовать каждое дело, а с младшей, соглашением, легко одобрять все, что попадется, и приветствовать враждебное как дружественное, если только оно предложит от себя какую-нибудь малую приманку наслаждения. (166) А это помысел терпит не в трезвом состоянии, но одержимый опьянением и словно вне себя от вина. Поэтому сказано: «И напоили отца своего вином» (Быт. 19:33).

Совершенное нечувствие в том, чтобы считать, будто ум в силах сам по себе решать, что полезно, и соглашаться с любыми явлениями как с имеющими в себе твердую истину, хотя человеческая природа никоим образом не способна добиться ясности в рассмотрении или избирать одно как истинное и полезное, а от другого отворачиваться как от ложного и вредоносного. (167) Ибо густой мрак, окутывающий существующие тела и дела, не позволяет разглядеть природу каждого, но даже если кто-нибудь, приложив усилие из любопытства или любознательности, захочет проникнуть туда, он, словно увечный, спотыкаясь о то, что у него под ногами, будет падать и отставать, прежде чем добудет что-либо, или, ошупывая руками, будет гадать о неясном, получая прежде истины домыслы. (168) Ибо даже если образование, держа факел, будет собственным светом провожать ум к созерцанию сущего, оно вряд ли скорее поможет ему, нежели повредит, – ведь малому свету свойственно гаснуть в великой тьме, а если он погаснет, то всякое зрение бесполезно.

(169) И вот против того, кто хвалится, или что может решать, или что способен одно выбирать, а другого избегать, следует привести следующее: если бы от одних и тех же вещей всегда непременно получались одни и те же представления (φαντασίαις), то, может быть, было бы необходимо восхищаться устроенными в нас по природе двумя способностями суждения (κρίτηρια), ощущением и умом, как неложными и нелицеприятными, и не удерживаться сомнением относительно чего бы то ни было, но, веря однажды явленному, одно избирать, а от другого, наоборот, отворачиваться. (170) А поскольку обнаруживается, что эти представления воздействуют на нас по-разному, то мы не могли бы сказать ни о чем ничего уверенно, поскольку явления не стойки, но подвержены многообразным и многоликим изменениям – ибо раз представление неустойчиво, суждение о нем также по необходимости неустойчиво. (171) Причин же этого много: во-первых, несказанные различия между живыми существами, не в одной части, но почти во всем, в их рождении и строении, пище и образе жизни, в том, что они предпочитают и чего избегают, в чувственных действиях и движениях и в свойствах неисчислимых претерпеваний тела и души.

(172) Ибо помимо судящего, взгляни и на некоторые из предметов суждения, например, на хамелеона и полипа. Говорят, что один, меняя цвет, уподобляется поверхностям, по которым обычно ползает, а другой – морским скалам, ибо спасительная природа, видимо, дала им способность многоцветного превращения как защитительное средство, чтобы их не поймали. (173) А разве ты не заметил, как шая голубки в солнечных лучах меняет тысячи оттенков цвета? Разве не отсвечивает она пурпурным и иссиня-черным, огненно-красным и угольным, а еще и желтым, и алым, и всевозможными другими цветами, которых и названия нелегко перечислить? (174) Говорят также, что у скифов, называемых гелонами, бывает некий удивительнейший зверь, хотя и редко, но все же бывает, именуемый тарандр (τάραν-

брос), по величине не уступающий быку, а строением морды очень похожий на оленя. И рассказывают, что он всякий раз меняет масть в зависимости от местности, и деревьев, и вообще всего, близ чего он стоит, так что из-за сходства цвета его не замечают встречные, и именно благодаря этому он бывает неуловим скорее, чем благодаря телесной силе. (175) Такие и подобные вещи суть отчетливое удостоверение непостижимости, а кроме того – и разнообразие во всем уже не всех живых существ, но только людей по отношению друг к другу. (176) Ведь они не только в разное время по-разному судят об одних и тех же вещах, но каждый по-разному получают от одного и того же или наслаждение, или, наоборот, неприятное ощущение, ибо то, что для некоторых неприятно, другим доставляет удовольствие, и наоборот, то, что одни принимают и приветствуют как дружеское и близкое, другие отгоняют далеко от себя как чуждое и враждебное. (177) Вот и будучи в театре, я часто видел, как от одной мелодии одни из соревнующихся на сцене актеров или кифаредов бывали увлечены так, что поднимались и созвучно пели хвалу, даже не желая того, а другие остались столь равнодушны, что можно было бы в этом отношении счесть их ничуть не отличающимися от бездушных скамеек, на которых они сидели. Иные же были столь раздосадованы, что уходили, покинув зрелище, да еще и отряхивали обеими руками уши, чтобы, стало быть, никакой оставшийся в них отзвук не доставлял неприятного ощущения раздражительным и недовольным душам.

(178) Но что об этом говорить? Любой человек сам, будучи один, в себе самом, что самое удивительное, претерпевает множество изменений и превращений телесных и душевных, и то избирает, то отвергает вещи нисколько не меняющиеся, но по природе пребывающие в одном и том же устройении. (179) Ведь не одинаковое восприятие (*προσπίπτειν*) у здоровых и больных, у бодрствующих и спящих, молодых и старых, – и более того, разные представления получает стоящий и двигающийся, и, опять-таки, смелый или испуганный, а также огорченный и радостный, любящий и, наоборот, ненавидящий.

(180) Да и зачем надоедать пространными речами об этом? Ведь коротко говоря, всякое естественное или противоестественное движение тела и души становится причиной беспокойной текучести в явлениях, внушающей противоречивые и несогласные сновидения.

(181) Не в последнюю очередь неустойчивость представлений происходит и от положения, расстояния и места, которыми каждое [из них] определяется. (182) Разве не видно, что морские рыбы, когда они плывут, расправив плавники, всегда кажутся больше, чем на самом деле? И весла, даже если они чрезвычайно прямые, в воде видятся сломанными. (183) То, что находится очень далеко, обычно обманывает ум, внушая ложные представления – ведь иногда бездушные предметы принимают за животных, и наоборот, одушевленные – за бездушных, а еще покоящееся считают движущимся, а движущее – покоящимся, и приближающееся – удаляющимся, а уходящее – приближающимся, и огромное – совсем маленьким, а угловатое – округлым. И многое другое ложно описывается ясным зрением, достоверность чего никакой здравомыслящий не подтвердит.

(184) А количества при приговлении? Ведь от большего или меньшего приключается вред или польза, как обстоит дело и во множестве других вещей, но особенно во врачебных снадобьях. (185) Ибо доза в составах отмерена определениями и правилами, отходить от которых в ту или другую сторону небезопасно – потому что недостача расслабляет, а избыток напрягает силы. Но и то, и другое вредно – одно из-за слабости будет не в состоянии действовать, а другое повредит усилием чрезвычайной мощи. И по мягкости или жесткости, густоте и плотности или, наоборот, разреженности и разжиженности [снадобье] позволяет четко распознать свою полезность или вредность.

(186) Но всем известно и то, что из существующего почти совершенно ничего не воспринимается само от себя и само по себе, но [все] поверяется сравнением со своей противоположностью, например, малое – сравнительно с большим, сухое – с влаж-

ным, горячее – с холодным, легкое – с тяжелым, черное – с белым, слабое – с сильным, немногочисленное – с многочисленным. (187) Подобным же образом и то, что относится к добродетели или пороку: полезное познается через вредное, хорошее – противопоставлением постыдному, справедливость и общее благо – сравнением с несправедливым и дурным. Да и рассматривая все прочее, что есть в мире, можно обнаружить, что о нем судят по тому же образцу, ибо сама по себе каждая вещь непостижима, а в сравнении с другой кажется познаваемой. (188) А то, что неспособно свидетельствовать за себя, нуждается в подтверждении от другого, недостоверно, – так что и таким образом обличается тот, кто легко произносит о чем бы то ни было утверждения или отрицания.

(189) И что тут удивляться? Ведь кто проникнет в вещи глубже и разглядит их отчетливее, тот узнает, что ничто не видится нам просто в своей природе, но все через самые запутанные смешения и сочетания.

(190) Как мы, скажем, воспринимаем цвета? Разве не вместе с воздухом и светом, которые вовне, и с влагой, которая в самом глазу? А каким образом распознается сладость и горечь? Разве не вместе с выделениями, естественными или нет, которые у нас самих во рту? Нет? Что же, запахи от воскурений разве представляют простую и чистую природу тел? Или же нечто смешанное из себя и воздуха, а иногда и из пожирающего тела огня и той силы, которая в ноздрях? (191) Из этого-то и вытекает, что мы не воспринимаем не цвета – но сочетание из предметов и света, не запахи – но смесь, состоящую из истечения тел и всеобъемлющего воздуха, не вкусы – но то, что образуется из привходящего вещества и влажной субстанции во рту.

(192) Поскольку дело обстоит таким образом, те, кто легко решается утверждать или отрицать что бы то ни было, заслуживают осуждения за глупость, поспешность или самонадеянность. Ибо если простые силы незаметны, а смешанные и собранные из многих – на виду, и невозможно ни узреть невидимые, ни разглядеть в смесях по отдельности образ каждой из составляющих, то что остается в дальнейшем, как не воздерживаться от суждения?

(193) Разве не призывает нас это не слишком доверять заранее неясным вещам, которые разлиты почти по всей вселенной и приводят как эллинов, так и варваров к ошибочным суждениям?

Что же это за вещи? Конечно, воспитание (*αἰσθησις*) с детства, и отеческие обычаи, и древние законы, из которых ни один не признается одинаковым у всех, но везде различается по странам, и племенам, и городам, а вернее, в каждой деревне и каждом доме, у мужчин, женщин и малых детей. (194) Поэтому то, что для нас позорно, для других – хорошо и приличное – неприлично, и справедливое несправедливо, и священное нечестиво, а незаконное законно, похвальное предосудительно, достойное чести преступно, и все прочее, о чем они судят противоположно нам.

(195) И что за нужда в пространных речах тому, кого занимают другие, более необходимые предметы? Если уж кто-то, не увлекаемый никаким другим более интересным умозрением, захочет, посвятив время вышеизложенному рассуждению, разбирать воспитание, и обычаи, и законы по странам, племенам, городам, местностям, подданным и правителям, знатным и незнатным, свободным и рабам, невеждам и ученым, он потратит не один или два дня, и не месяц или год, но всю свою жизнь, даже если проживет долгий век, – и тем не менее не заметит, как оставит многое неисследованным, нерассмотренным и невысказанным. (196) Итак, поскольку одни от других не только отличаются в малом, но и полностью несходны, так что противостоят и противоборствуют друг другу, по необходимости и воспринимаемые представления будут различны, и суждения (*κρίσεις*) противоречивы.

(197) Если такие вещи существуют, то кто столь безрассуден и вздорен, чтобы твердо заявлять, что то-то справедливо, или разумно, или хорошо, или полезно? Ведь что бы он ни утверждал, другой, научившись сызмальства, объявит это недействительным.

(198) Я же не удивлен, если беспорядочная и смешанная чернь, бесславная раба каким бы то ни было образом введенных обычаев и законов, еще с самых пеленок научившаяся повиноваться им, словно господам или тиранам, с прибитой душой, неспособная принять высокий и смелый образ мыслей, верит единожды установленному, и, оставив ум без упражнения, выражает согласие или отрицание без исследования и изучения – но и если толпа так называемых философов, изображающая, будто охотится за ясными и неложным в вещах, разделяется по отрядам и полкам и выдвигает несогласные, а часто и противоположные учения не о чем-то одном маловажном, но почти обо всех великих и малых предметах, которые они рассматривают. (199) Ведь как могли бы иметь одинаковые понятия о подлежащих вещах утверждающие, что мир беспределен, – и говорящие, что он ограничен; или объявляющие мир невозникшим – и возникшим; или ставящие его в зависимость от неразумного и спонтанного (*ἀλαυτοματιζούσης*) движения без надзирателя и предводителя – и полагающие, что есть некий дивный промысел о целом и о частях безошибочно и спасительно руководящего и управляющего Бога?

(200) А представления о благе разве не заставляют скорее удерживать, нежели выносить суждение, если одни считают благом только добро и полагают его в душе, а другие разбирают его на многие части и распространяют вплоть до тела и внешних вещей? (201) Они говорят, что случайные удачи суть свита тела, а здоровье, сила, целостность, правильное действие органов чувств и тому подобное – царицы-души, ибо поскольку природа блага имеет три степени, третья и самая внешняя [из них] есть защитница второй, более внутренней, а вторая – великое ограждение и охрана первой. (202) И вот об этом самом, и о различии жизненных путей и целей, с которыми должны соотноситься все действия, и о множестве других вопросов, входящих в логику, этику и физику, есть бесчисленные изыскания, из коих ни в одном не согласились все изыскатели.

(203) Посему разве не правильно выводится ум, не ведающий знания, со своими двумя дочерьми, решением и согласием, которые возлегли и сочетались с ним? Ведь сказано: «*А он не знал, когда они легли и когда встали*» (Быт. 19:33–35), (204) ибо, похоже, у него не было твердого понимания ни сна, ни бодрствования, ни отношения, ни движения, но даже когда кажется, будто он принял наилучшее решение, он оказывается безрассуднейшим, потому что исход дела не был подобен ожидаемому. (205) И когда он решил подтвердить нечто как истинное, ему достается осуждение за легкомыслие, поскольку то, чему он раньше верил как надежнейшему, оказалось недостоверным и ненадежным. Так что, поскольку дела обычно оборачиваются противоположно тому, что кто-либо предполагает, безопаснее всего воздерживаться от суждения.

(206) Достаточно поговорив об этих вещах, обратимся к последовательности рассуждения. Итак, мы сказали, что «*пьянство*» указывает и на часто приносящее многим людям большой вред обжорство. Можно видеть, как предающиеся ему, даже если заполнят все вместилища тела, вождением еще пусты, – (207) они, если и насытятся множеством съеденного, через короткое время, словно потрудившиеся атлеты, дав роздых телу, снова приступают к тем же состязаниям.

(208) Посему священные книги представляют царя земли Египетской – тела – который, по видимости вознегодовав на прислужника пьянства виночерпия, через недолгое время снова примиряется с ним, вспомнив о страсти, разверзающей вождения, в день глennого рождения, а не в нетлении невозникшего света. Ведь сказано: «*Был день рождения фараонова*» (Быт. 40:20), когда он вызвал из темницы главного виночерпия для возлияний, (209) ибо любострастнику свойственно считать возникшее и глennое блестящим из-за того, что в отношении знания о нетленном он окутан ночью и глубоким мраком – поэтому он сразу приглашает пьянство, почин наслаждения, и его служителя.

(210) У распутной же и несдержанной (*ἀκράτορος*) души есть три прислужника и подателя угощений, главный хлебодар, главный виночерпий и главный повар, кото-

рых предивный Моисей упоминает в таких словах: «И прогневался фараон на двух евнухов своих: на главного виночерпия и на главного хлебодача, и сверг их в темницу у главного темничного стража» (Быт. 40:2–3). И главный повар тоже евнух, потому что в другом месте говорится: «Иосиф же отведен был в Египет. И купил его евнух фараонов, главный повар» (Быт. 39:1), и еще: «Продали Иосифа евнуху фараонову, главному повару» (Быт. 37:36).

(211) Почему же из сказанного совершенно ничего не было препоручено ни мужчине, ни женщине? Не потому ли, что мужчины по природе приучены сеять семя (ῥονός), а женщины – принимать его, и выходит, что сохождение их воедино есть причина возникновения и пребывания всего, а радоваться дорогим блюдам и напиткам и изощренным приправам кушаний свойственно душе бесплодной и неспособной рожать, а вернее, оскопленной, которая и посеять не может поистине мужские семена добродетели, и посеянные принять и вскормить, но, словно унылая и каменная пашня, по природе способна только губить то, что должно жить вечно?

(212) [Этим] устанавливается общепользнейшее положение, что всякий творец наслаждения бесплоден в отношении мудрости, не будучи ни мужчиной, ни женщиной, поскольку он не способен ни давать, ни получать семена нетления, но строит постыднейшие козни против жизни, чтобы губить нетленное и гасить пребывающие негасимыми светильники природы. (213) Никому из таковых Моисей не позволяет входить в собрание Божие. Ведь он говорит: «У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, не может войти в общество Господне» (Втор. 23:1). Ибо что пользы от слушания священных слов тому, у кого отрезана вера и кто не смог сохранить доверенные ему жизненнополезнейшие учения?

(214) Итак, есть три подателя угощений человеческому роду: пекарь, виночерпий, повар, и это естественно, потому что мы стремимся к потреблению и вкушению трех вещей: хлеба, закусок (ῥψον) и напитков, но одни – только необходимых, которыми мы по необходимости пользуемся ради здоровой и нескаредной жизни, а другие – безмерных и совсем излишних, которые, разжигая аппетит и своим количеством отягощая и обременяя вместилища тела, имеют обыкновение порождать великие и разнообразные заболевания.

(215) Посему одни, простецы (ἰδιώται) в отношении наслаждения, вожделения и страстей, подобно простым гражданам, ведущим в городах безобидную и лишённую ненависти жизнь, поскольку они неприхотливы, не нуждаются в хитроумных и изощренных в искусстве слугах, но в тех, чьи услуги незамысловаты: в поварах, виночерпиях и пекарях. (216) Те же, кто считает сладкую жизнь предводительством и царством и применительно к этому смотрит на все, большое и малое, желают иметь слугами главных поваров, виночерпиев и хлебодачиков, то есть дошедших до крайней изощренности в каждом из своих занятий.

(217) Искуснейшие в пекарном деле изготавливают разнообразнейшие виды молочной, медовой и бесчисленной прочей выпечки, благодаря не только различию материала, но и способу приготовления и форме изощренно приспособленные для обмана не только вкуса, но и зрения.

(218) А что касается изучения вин, быстроусваиваемого и не причиняющего головной боли или, наоборот, цветущего (ἀνθήμονου) и благоуханнейшего, допускающего большее или меньшее разбавление водой, пригодного для крепкого и сильного или для мягкого и слабого напитка, и все в том же роде – это занятие главных виночерпиев, достигших вершин в своем искусстве.

(219) Хитроумно же приправлять и готовить рыбу, и птицу и тому подобное, и делать приятными все остальные кушания умеют поднаторевшие в этой науке повара, мастера в постоянных трудах и занятиях изобретать тысячи вещей, помимо тех, что они видели и слышали, для роскошной и изнеженной жизни, которую не стоит жить.

(220) Но все они оказались евнухами, бесплодными в отношении мудрости, – а тот, с кем царь чрева, ум, заключает примирение, был виночерпий, ибо род человеческий чрезвычайно винолюбив и исключительно только в этом ненасытен. Ведь

нет никого, кто не насытился бы сном, едой, соитием и подобными вещами, а в вине ненасытны почти все, и особенно упражняющиеся в этом деле. (221) Ибо выпив, они еще жаждут и начинают с совсем маленьких чаш (κύβαθον), а дальше велят наливать в более объемистые ойнохои; когда же, слегка захмелев, расслабятся и уже не могут владеть собой, то пьют сразу полными ковшами (οἶνηρῦσαις), фракийскими чашами (ἀμύστεις) или кратерами, пока или их не одолеет глубокий сон, или вливаемое не потечет через край из-за переполнения вместилищ.

(222) Однако и тогда ненасытное желание в них бушует, как будто еще неутоленное, ибо, как говорит Моисей, *«виноград их от виноградной лозы Содомской, и розга их от Гоморры; грозд их грозд желчи, кисть горечи их; вино их ярость драконов и ярость аспидов неисцелимая»* (Втор. 32:32–33). Содом же в переводе «бесплодие» или «ослепление», а виноградной лозе и ее плодам он уподобляет одержимых пьянством, обжорством и постыднейшими наслаждениями.

(223) Намекает же он вот на что: в душе дурного не рождается никакого ростка истинной радости, потому что корни его не здоровы, но сожжены и испелены тогда, когда ради справедливо вынесенного Богом наказания на нечестивцев с неба вместо воды летели неугасимые пламенные молнии. В ней – растение неукротимого вожделения, бесплодного на добро и слепого ко всему достойному созерцания, вожделения, которое он сравнивает с виноградной лозой, не с матерью хороших плодов, но с той, что приносит горечь, злобу, коварство, гнев, и ярость, и свирепые нравы, жала душу совершенно неизлечимо наподобие ядовитых ехидн и аспидов.

(224) Будем молиться об отвращении их, взывая к всемилостивому Богу, чтобы Он и дикую эту лозу истребил, и евнухов и всех бесплодных в добродетели осудил на вечное изгнание, а вместо них насадил в нас домашние деревья правого образования, и даровал благородные и поистине мужские плоды и слова, могущие сеять добрые дела, но также и растить добродетели, и способные вечно поддерживать и сохранять все, родственное благополучию (εὐδαιμονίας).